

Савицкий Михаил

19.06.97.

Культура. — 1997. — 19 июня. — с. 7.

# Я видел это в сорок первом

**Вадим ОЛЬШЕВСКИЙ**  
Я расскажу о Мише Савицком, художнике из Минска, ныне удостоенном почестей, званий, наград, а тогда просто бывшем узнике фашистских концлагерей, чудом уцелевшем и написавшем свои первые картины. Мне хочется называть его по-прежнему — Мишей, потому что храню день, когда его так называл.

Он дал мне увидеть Беларусь.

Были его картины — прежде, чем стать картинами, они были Хатынью. Хатынью, где сейчас, одинокие, порезваниваются колокола и пронзительная стоит тишина.

У памяти есть свойство — она, как художник, обостряет очертания давних встреч, лиц и дорог. Вот тоже было здесь, в войну: мы, солдаты, зашли обогреться, немцы сожгли деревню, и дом остался один, и уж сколько лет прошло, а все вижу его — старика в холщовой рубашке. Черная изба, ни родни, никого — черная изба, и с огромными руками, костистыми ступнями ног, белый, под потолок старик. Старика я увидел в Хатыни, только он был из бронзы. Тот, из дной войны, он стал над тихим полем, над перелесками, над всей этой землей, через которую прокатилась война.

Мне довелось увидеть, какой памятной живет это в людях. Я проехал, прошел с ветеранами партизанских боев их былыми дорогами, видел, как живые встречались с живыми и с могилами, где остались товарищи. Видел в людях немолодых и поседевших, как вставала за ними молодость, партизанский лес за Антуновом, засады под Лепелем и виселицы в Пышно, и неистовый, смертный тот рывок через вражеское кольцо под Ушачами, где у дороги, у ручья, убили тогда Машеньку Сухову, кинооператора из Москвы, зачисленную к партизанам, — то место сыскалось, мы прикатили

В годину войны, в далеком, непереносимом сорок первом, в деревне под Гомелем ли, под Мозырем крестьянская мать накормила нас, московских студентов, работавших на строительстве оборонительных рубежей и бежавших от немецкого прорыва, — дала по миске супа и по ломтю хлеба. А силы были на исходе — верстам, казалось, не будет конца, и жгло солнце, жгло небо, перечеркнутое крылами "мессершмитов". Сколько прожил — несу в памяти эту бедную похлебку, заболтанную молоком, и кусок хлеба с прищеченным с исподу капустным листом — так в деревенских избах пекут в Беларуси хлеба. А потом мне довелось пройти Беларусь — солдатом. Я не видел ее — что может видеть солдат на войне? Только память сердца — так это называют — живет в человеке. Но получилось с годами, что пути журналиста не раз приводили меня в изведенные места.

валун и положили на гранит поздалекие стебельки льна.

Я видел бережность в людях — к далеким своим годам. Такую бережность, словно все дни, что был я с ними, я нес в ладонях и боялся расплескать что-то такое хорошее, чего никогда не держали мои руки.

Картины Савицкого — они все из такой памяти. Они писаны с того слитного чувства, которым отложилось и в человеке, и в народе время огненное, суровое, трудное, светлое.

Кто знает его "Партизанскую мадонну"? Теперь она позабылась, а когда-то главенствовала на выставках — мать, защищенная оружием партизан, округлые ритмы материнской груди и плеч, и овала лица, переходящие в ритмы земли, оттого такой же извечной, как мать. Мне ее довелось увидеть, эту картину, словно бы еще не написанную, там, на развилке дороги от Антунова к Ушачам. Была прощальная минута — кто возвращался домой, кому путь

был дальше. И сначала не обратили внимания на грузовик, который приближался, набирая силу на взгорке. А он уже сбавил натужное урчание и взял скорость, как из кузова замахала руками и закричала о чем-то женщина в поношенном рабочем ватнике. И машина остановилась, и женщина бежала нам навстречу, и это была она — партизанская мадонна Савицкого. Точно так же повязанная платком, с тем же овалом лица, с той же округлостью плеч под запяленным ватником.

Она была женой пулеметчика Буйницкого из бригады Дубова — ударной силы лепельских партизан, сам Буйницкий погиб от рук карателей, ее звали Маруся, она казалась на редкость красивой и в свои уже немолодые годы, и удивительно чистый, строгий ее облик вдруг как-то подчинил себе всю атмосферу встречи, и увиделось взгляду: сама местность тоже подчинилась облику женщины.



М. Савицкий. "Партизанская мадонна". 1967 г.

Или, может, это тогда так показалось? И потому, что увиденная сцена наложилась на картину художника? А может,

картина художника дала ключ к этой сцене? Надо ли разгадывать, искусство ли сошло в жизнь, жизнь ли поднялась в

искусство, а только я благодарен Савицкому за то острое счастье, которое дано мне было изведать на том проселке, в бы-

лом партизанском краю, где встала передо мной Беларусь, и глазами художника я увидел ее — мою Беларусь.

Мы у него в мастерской — у Михаила Савицкого, я и сотоварищ мне по работе, журналистка из Минска. То — моя первая с ним встреча. Художник снимает завесу с холста, и перед нами беженцы, дети — измученные глаза, обостренные скулы, голодные впадины щек. Я видел это в сорок первом, видел!

Я подхожу близко, меня вбирают в себя налитые усталой пустотой глаза, а за спиной у меня плачет женщина, с которой мы пришли к художнику.

Эта картина о ней. Она была девочкой, когда началась война и пришлось бежать из дома, и она была такой, вот как эти дети на картине, и все было черное, красное на путях войны.

Да что ж это за память такая, которая не уходит здесь из людей, не уходит на этой тихой, ласковой, синеглазой земле — будто неумолчно, не утихая, стучит пепел в сердце!

На стенах Зала славы Минского музея Великой Отечественной войны в литом металле наименованы воинские соединения, освобождавшие Беларусь. В литом металле — моя 3-я гвардейская Речицкая дивизия генерала Середина. В то лето сорок четвертого года от заднепровских плацдармов, от Жлобина и Рогачева и до Бреста была черная, красная Беларусь. Мы хоронили товарищей в белорусской земле — была черная, красная Беларусь. И партизанский Лепель, Антуново, Пышно, Ушачи — это было черное и красное. То мои краски — ими живет во мне Беларусь.

Но шло время, и нежданно наступил день, который стал для меня, как исповедь. В городе Речице собрался слет ветеранов дивизии. Было первое сентября, открытие учебного года, и нам, кто захочет, предложили провести в классах начальный урок. А мне не доводи-

лось быть учителем, и я не знал, как это делается. Достался четвертый ли, пятый класс. Помню — цветы. Дети принесли их учительнице. Или мне — знали, что свой, речичкий солдат проведет у них занятие. А мне никто никогда не приносил цветы. И помню, дети были очень красивые. Тоже, как цветы, и не хотелось думать, что их коснулось дыхание недалекого отсюда Чернобыля, и потому щемила какая-то вина перед ними, хотя какая на мне вина за Чернобыль?

Я говорил, какой город у них хороший и синий Днепр, и простор в заречных даях. О том, что цветы они принесли хорошие и учительница у них хорошая. И о том, что у них, в Речице, пробовал когда-то читать белорусские книги. И еще о чем-то говорил, только о войне не говорил, потому что нельзя детям говорить о войне, а она стояла за спиной, стояла! И стало трудно мне говорить, я не знал, о чем говорить, и спросил: дети, кто знает, кто споет мне белорусскую вашу песню про перепелочку, и вышла девочка и спела, как у перепелочки грудка болит, как у перепелочки ножки болят — "шизая, шизая перепелочка, шизая, шизая, невельчкая", — и будто чем-то застлало мне глаза.

А потом я вышел в коридор — у окна, прижавшись лбом к стеклу, стоял былой мой товарищ, с кем делил я фронтные дороги и укрывался одной плащ-палаткой, он проводил занятие в соседнем классе, и у него тоже стояли слезы.

— Что с тобой, Иван? — спросил я его.

— А с тобой что? — ответил Иван. И не стыдясь минутной слабости в городе Речице, на белорусской земле, — по-мужски, кулаком, — утирал свои глаза гвардии солдат, украинец, уроженец Сумщины, Иван Вокотеча, находчик орудия с 3-й батареи 309-го гвардейского артполка, умевший в ближнем бою бить немецкие танки... ●